

РУССКАЯ КЛАССИКА

Иван

БУШИН

*Леткое дыхание*



Легкое дыхание //Эксмо, М., 2001

ISBN: 5-04-001797-9

FB2: "shum29 ", 23.11.2008, version 1.1

UUID: 06340b66-0ae6-102c-96f3-af3a14b75ca4

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

## **Ночной разговор**

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015
III.....	.0022
IV.....	.0029
V.....	.0037
Комментарии.....	.0048

**Иван Алексеевич Бунин**  
**НОЧНОЙ РАЗГОВОР**

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже поосеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, — был праздник, Успенье, — и жадно закурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачны-

ми рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада — и все почувствовали, что спать еще не хочется, — выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что да-

же загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, — возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девушками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» — дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

— Совсем отбился от дому! — с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. — Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! — улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого

тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сторел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, — весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое



решение — изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, — от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, — возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона[1], Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую еното-

вую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда

же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился — над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над Богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», — сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатились со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, — даже и к Ивану, издевавшемуся над ним, — у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие,

их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, — если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

— Ай, барчук, донимают? — спросил он. — Чистая беда эти блохи, хомут! — сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

— Мочи нет, — отозвался гимназист. — Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жилиять, как не их.

— Главная вещь, порток на них не полагается, — равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным

и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал — как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать сигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказал он.

— А я на барчука солгусь, — отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. — Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, — сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. — К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

— Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана

панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

— Половина одиннадцатого, — сказал он, горбясь.

— Ну вот, так я и знал, — весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. — В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки — и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

Иван, как всегда, значительно молчал. Ки-рюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое — о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, — только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

— Что брешешь пустое, — равнодушно сказал старик, услышав хвастливое заявление Пашки. — Какого такого человека мог ты убить? Где?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. — Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

— Да где убил-то?

— Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, — наш же, елецкий, — эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

— Кого его? — спросил гимназист.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой, — перебил старик, — ты толком расскажи. Где вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказал Пашка. — Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...



— Знаю, — сказал старик. — И мы там стояли восемнадцать дён.

— Ну, вот видишь, — значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать дён, а целый год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные преступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

— Стой, — перебил гимназист, — а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо, — ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику. — Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него целый год в арестанских ротах пробывать, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай, — сказал он, де-

лая вид, что говорит только со стариком. — Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, дó ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец того, подходит к старшóму: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и дозволили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь — хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у каждого, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно, — сказал старик. — Он должóн по закону все в исправности принять.

— Про то и толк, — подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серник в руки, сложенные ковшиком. — Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой, — продолжал он, давя спичку и пуская в ноздри дым, — пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу, —

спать мочи нет как хочется, — а грузинт этот как вскочит вдруг да за́ угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандалный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой, — Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы, — да и дёру! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и — за ним: Козлов тоже за́ угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где зук, где то есть кандалы его звенят, — дуром-то, думаю, и стрелять нечего, — наслышал наконец того, — раз! Чую — мимо. Я в другой — опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! — приложился, вдарил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, зук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в энто место, бегу, а он и вот он: на земли на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком», — в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье — раз ему в самую душу... аж в спину

выскочило!

— Ловко! — сказал старик. — Дай-ка заться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурок.

— А Козлов, — ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой, — а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай угомонил?» — «Угомонил, говорю, давай тушку тащить...» Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал, — сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

— И по рублю, говоришь, наградил вас?

— Верное слово, — ответил Пашка, — прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурок.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

— А дураков, видно, и в солдатах много.

— Это как же так? — спросил Пашка.

— А так, — сказал Иван. — Ты что должен был делать? Ты должен был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем

стать при мертвом телу. Теперь расчухал ай  
нет?

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко...» — еще проще.

— А вот я, — начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста, — а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

— Как из-за козе? — в один голос перебили старик и Пашка.

— Ей-богу, правда, — ответил Федот. — Да вы вот послушайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготавливаясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

— Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... А потом пошла сваря, суд... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил брусом... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих

коз, не мужицкое это дело, и обращения с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать, — и так все смеялись, отговаривали, — да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, простору и лесов никаких... Прогону своего у нас покой веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по парам питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбыть, три дни на молотьбе... Сосчитать, сколько это будет? — сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

— Избавь господи!

— А козу купить, — продолжал Федот, — ну, от силы семь али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать — бьет их дюже, когда

кóтна, а зачнет починать, злей собаки исделается, зрить их не может. И такая цепкая скотина — это ей нá избу залезть, на ракутку, — ничего не стоит. Есть ракутка, так она ее беспрременно обдерет, всю шкурку с ней спустит — это самая ее удовольствие!

— Ты же хотел рассказать, как человека убил, — с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка — убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про что ж? — ответил Федот грубовато и заговорил немного живее. — Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить — это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал, — сказал он, обращаясь к старику. — Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли каждый день скандалы. Взял, говорю,



пустое, восемь за козу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещь, ребятам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру — глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать. «Где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье, — деловито вставил Пашка. — Их не бить, добра не видать.

— Понятная дело, — сказал Федот. — Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удои оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, брухаться приучают... Только ворочается вечером стадо — смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разле-

тится, разлетится — раз его в кичку! До того его изняла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел, — как скрозь земь провалилась...

— Ну, правда, — яд коза! — сказал старик.

— Ха! — злорадно ответил Федот. — Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попáнется она волку нá зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого места не оставили, все до шпен-ту обьелозили — нигде нету! Затужил я бозна как, однако еду пахать, — как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под мѣжу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет — вдруг, слышу, кричит чтой-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, держает бородой, хлеб лопаает... Кинул я поскорей соху — к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, она

от мене: отбежит, остановится, жует хлеб — и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва — за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет, — ну, прямо насмешничает!

— Что и говорить, скотина беспечная! — сказал старик.

— Про что ж я-то говорю! — воскликнул Федот, поощренный сочувствием. — Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь — смотрю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом — и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажмал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, боле часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее

знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране — опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

## IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, нагнувшись на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дела, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

— Спать пора! Завтра домелете!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра, и

от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

— Да, братец ты мой, — говорил Федот, — истинно до слез меня довела! Сказывают мне наконец того, — загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну, — никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, спрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной

понеже под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

— Ошалела, значит, от старости, — встал Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть — это он все наврал на себя!»

— Ошалела, — подтвердил Федот. — Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» — «Что нужно? По делу. Вы мою козу загнали, держите приبلудный скот, а объявление не делаете». — «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чегой-то. Та-ак, думаю, значит, опять моя дело табак. Ну, погоди ж

ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стезжку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» — «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузьма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» — «Скорей, говорю, беги, вон мать с крипивою идет». А она и вот она — увидала его, бежит: «Не тебе сказала за малым смотреть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» — «А тебе, мол, что за дело?» — «Да нет, ты скажи, ты чей?» — «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу». — «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг — несется ко мне высокий мужик от рыги — без шапки, распяской, в сапогах. Набежал со всех ног: «Твоя коза?» — «Моя». Развернулся — как ахнет мне в ухо!

— Чисто! — в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:



— Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгреб его за руки, спрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, — подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь, — драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жилает. «Здравия желаем, мол, дозволейте спросить: у вашей милости моя коза?» — «А вы кто такой?» — «Хозяин этой козе». — «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, вошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, — лошади жирные, рьяные. На крыль-

це лакей с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, — кричит в дом горничной, — скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пелену, ищет чтой-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, — воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей», — а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и об землю бьет. Увидал меня: «Ты что?» — «Да вот, говорю, мою козу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвольте ее взять, убить». — «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрафую на два цалковых». — «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этом. Такой грех, говорю, — у меня ее завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно, — пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись, — катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже недоглядела, в пуньке лежала, на крик кричала — рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили

по уху за нее, — смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошку попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

— Пристукнул-таки? — спросил старик.

— Обязательно, — сказал Федот. — «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай». — «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, — сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жу́стрил чтой-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал, — она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в землю да как стреканет по овцам, — так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. До-

ждался я наконец того, пока она под самый перемет подошла, — цоп ее за рог! Как закричит она, — даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши — в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили — и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась — внесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть — плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

Помолчали. Федот приподнялся, сел и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гимназист с ужасом и отвращением увидел то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрыв, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве, — точно натертую черным воском, — и потрянул ею, развеивая по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист. — Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу!» Но Пашка! Пашка! Как он мог так весе-

ло рассказывать? И с наслаждением: «Аж в спину выскочило!»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

— Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмеялся.

— Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. То же вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: боятся, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... посмирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и

примчался на барский двор, — разлетелся, грохнулся и окошел тут же... кровью весь исшел.

— Как? — сказал гимназист. — Кожу содрали? С живого?

— Нет, с вареного, — пробормотал Иван. — Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

— Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им — стражники. Мужики с кольями, с косами — на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драло... какая там, черт, сила в этих мужланах! — а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, господи ты боже мой! — сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудоб-

ней, — чего только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя — и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгреб за ножки — и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-собором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

— А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бяда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зерькала́ в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользанет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... — Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился. — Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармоньи играет!



Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал досказывать свою историю:

— Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по уху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла,дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его Господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его Господь», — он помолчал и продолжал:

— Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, гово-

рит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить, — за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерком пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно! — сочувственно крикнул старик и зевнул.

— Хороша лада! — сказал Федот. — Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темнеет. Слышу — подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с брусом от косе, да сгоряча — раз его в голову! А он и наземь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примоч-

ки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

— Я в пуньке под стражей два дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал — лежит, вижу, труп

совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отóнок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь — как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь, — где, значит, удар-то был. Резак говорит следовательно, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

— Что делают, разбойники-живорезы! — хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

— Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрущам. Вырубил косяк, стал отди-

рать — трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю внутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной, тощей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами,

в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка, — есть только зипун с большой прорехой на плече, — у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестящим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты.

*Kanpu. 9-23.XII.1911*

# Комментарии

**В**первые напечатан в «Сборник первый», СПб., Издательское товарищество писателей, 1912. Написан на Капри в пять дней (19 — 23 декабря 1911 г.). «Рассказ для вас готов, — сообщил Бунин Н. С. Клестову 24 декабря. — Он о мужиках, называется „Ночной разговор“. Позавчера я читал его у Горького (был Коцюбинский и еще кое-кто) и теперь спокоен — рассказ имел большой успех, — хоть знаю, что вызову большое озлобление (и опять дурацкое) — у господ критиков». Об успехе своего произведения в кругу литераторов, собиравшихся у Горького, он говорит в письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года: «Клестову даю рассказ „Ночной разговор“... Читал его у Горького — и снова с огромным успехом».

«Большое озлобление», говоря словами Бунина, рассказ вызвал в правой печати. А. Бурнакин писал в «Новом времени»: «...как в „Деревне“, опачкивание народа и опять соответствующее выполнение: поэзия дурных запахов, загаженные проходы, миллионы блох и



вшей, портянки и портянки». Обвинение в безмерном сгущении красок прозвучало и на страницах газет «Столичная молва», «Запросы жизни», «Русские ведомости» и т. д. Напротив, Любовь Гуревич видела в Бунине хранителя великих заветов Толстого. Истекший литературный год, замечала она, значителен тем, что вышел том посмертных произведений Толстого с «Хаджи Муратом» — «перед нашим растерянным литературным поколением <...> встал образец строгого, гениально простого и могучего художественного письма». Бунин относится к тем писателям, которые, пишет Гуревич, «являются как бы живыми звеньями, соединяющими наших, уже ушедших из жизни классиков с тою классической литературою будущего, которая должна же вновь народиться». Его «Ночной разговор» и «Веселый двор» представляют собою «настоящее художественное очарование <...> И, читая его, все время упиваешься его дивным, правдивым, метким языком, вылепляющим при посредстве нескольких слов живые характерные фигуры, передающим в диалоге мужиков всю первобытную наивность и све-

жесть крестьянской психологии вообще и тембр каждой представленной нам индивидуальности».

Французский писатель Анри де Ренье писал, что рассказ «Ночной разговор» «преисполнен трагической и своеобразной красоты».

Необходимо отметить, что рассказ Пашки об убийстве арестанта очень близок по содержанию записи Бунина в дневнике 29 июля 1911 г. о глотовском крестьянине Илюшке: «Поразительно рассказывал на днях Илюшка, как он убил человека. Умывался у водовозки — пошла кровь носом, косил на солнце. Возле него малый... Малый Илюшке: „Полей мне“. Илюшка: „Ай я тебе прачка?“ Милый смех, умное лицо. Заговорили о его молодой бабе. Спокойно, громко говорит при всех... Потом о том, как убил — и все так же весело, бодро, легко. „Неужели правда убил?“ — „Ей-богу, правда, об этом даже в газетах писали и в приказе по полку. Нас с Козловым дивизии начальник за это убийство арестанта, во время препровождения, к медали хотел представить, да нас в Киев перевели. На смотрю по

рублю дали“. А убили так. Три солдата провождали несколько арестантов из Ново-Сенак в Зухдены. По дороге ночевка, припоздали. Один арестант лежал в телеге, больным прикинулся. Привели в пересыльную казарму. Сторож пошел с солдатом пробовать окна — крепки ли решетки. Арестант сидел на крыльце. Вдруг вскочил и за угол. „Козлов за ним, я наперерез“. Стреляли на звон кандалов. По пяти зарядов выпустили. „Я еще зарядил — раз! — слышу, потишал зук. Я еще раз. Слышу — стихло, упал. Я подбежал — он сел на ж..., на руки: добей меня, ради бога! Я приложил штык и вот в это место, где бронхит бывает — так штык в спину и выскочил.. А он как бежал? Разрезал кандальный пояс и деру, на бегу его рукой держал. Мы в него попадали, — два зуба выбило, в десны и в сустав, в пальцы попали. А тут подбежал Козлов, взяли за кандалы и поволокли...“ — „И тебе не грех?“ — „Какой же тут грех? Мне за него год пришлось бы сидеть“. — „Да лучше год...“»

# Примечания

Ливингстон Давид (1813 — 1873) — английский путешественник. Беккер Самуэль Вайт (1821 — 1893) — английский путешественник и исследователь, открывший один из истоков Нила.

[^^^]